

Тимофей Шерудило

СВОБОДА или СОВЕСТЬ?

2023

18+

Тимофей Шерудило

Свобода или совесть

«Автор»

2026

Шерудило Т. А.

Свобода или совесть / Т. А. Шерудило — «Автор», 2026

«И физиократы, и Адамъ Смитъ, — говорит историк Кареев, — въ теоріи признавали, что свобода является однимъ изъ самыхъ лучшихъ средствъ для уврачеванія всякихъ соціальныхъ золъ, и вѣрили, что между единицами и между общественными классами существуетъ гармонія интересовъ: нужно только каждому предоставить свободу дѣйствовать въ своемъ собственномъ интересѣ... и изъ взаимодѣйствія индивидуальныхъ стремленій естественный порядокъ, лежащій въ основѣ хозяйственной жизни... создастъ гармонію интересовъ ко благу всѣхъ». Эта либеральная вера распространилась у нас в конце 1980-х и восторжествовала после 1991 года. Кратко и ярко она выражена в классическом трактате Джона Стюарта Милля «О свободе» (1861). Этот трактат и рассматривается критически в книге «Свобода или совесть».

© Шерудило Т. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Свобода или совесть?	5
I. Вступление	5
II.	9
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Тимофей Шерудило

Свобода или совесть

Свобода или совесть?

І. Вступление

В своих долгих метаниях между сменявшимися друг друга «идеалами», а лучше сказать идолами, русская интеллигенция отдавала предпочтение двум: социалистическому и либеральному. Если можно сказать, что мысль бывает или глубокой, или (как было принято говорить на Руси) «смелой и честной», то всё «смелое и честное» кадило перед одним из двух этих алтарей. Если господство социализма в России достаточно показало пустоту и неспособность социалистической «идейности» к культурному творчеству, то у русского либерализма не было возможности проявить себя вплоть до девяностых годов XX века, когда большевицкое правительство пало, власть валялась буквально на дороге и была подобрана теми, кто, волею случая, оказался к ней ближе всего. Знаменем новых правителей оказался либерализм, понимаемый довольно буквально, в духе знаменитого изречения «Laissez passez, laissez faire!»¹ Итоги пятнадцатилетнего либерального правления оказались печальны: процветания, на которое надеялись проповедники «невидимой руки рынка», оно стране не принесло; дало волю всему дурному и ослабило даже ту слабую узду закона, какая была в социалистической России; об уважении к личности, столь дорогому настоящим либералам, никто даже и не вспоминал... А у нас, сохранивших умственную независимость мыслителей (если такие еще остались в «свободной России»), появилась возможность впервые задуматься о том, так ли безусловно благотворен либеральный порядок, как думали на Руси в прежние годы.

В качестве беспристрастного, верного и красноречивого свидетеля я выбрал Джона Стюарта Милля. Если он и малоизвестен в современной России, а его классический очерк «О свободе» даже не издан полностью (единственный известный мне современный перевод обрывается несколько ранее середины), то его мысли можно смело назвать евангелием современного либерализма. Не знаю, прямо или опосредованно, но мысли Милля оказали сильнейшее воздействие на то учение, которое сегодня называет себя либеральным, и догматическое значение его писаний сравнимо только с догматическим значением писаний Маркса. Милль, как и Маркс, был создателем утопии, только утопии не социалистической, а либеральной; и в качестве утопического мыслителя получил огромную власть над умами. Фантастичность построений в сочетании с ложно научной методичностью приемов дает огромную силу, по меньшей мере, в наши дни, с их тяготением ко всему «научному». Даже от колдунов и вызывателей мертвых требует эта эпоха научности; и как Милль, так и Маркс своей наружной трезвостью и методичностью полностью удовлетворяют этому требованию...

Нужно сказать, правда, что понимание свободы, присущее Миллю, всё-таки богаче современного; в его мечтах еще находится место культуре — устраненной за ненадобностью из списка целей и ценностей в наши дни. Милль в этом отношении, конечно же, непоследователен — но это непоследовательность, естественная для сына своего времени. Я думаю, что никто в ту эпоху не понимал очевидной для нас истины: что признавать Бога значит признавать неравноценность проявлений человеческой природы; признавать высшее и низшее; признавать неравенство, иерархию и культуру, а отвергать Его — значит отвергать всё вышеперечислен-

¹ «Пропустите! Не мешайте!»

ное. (Надо заметить, что Ницше был наивный атеист, или не атеист вовсе, т. к., отвергая одни ценности, тут же ставил на их место другие, что для истинного атеиста немыслимо, ибо если он во что-то верит, так это в условность, а вообще говоря — в отсутствие каких бы то ни было ценностей в мире.) В этом отношении Милль в самом деле непоследователен: он еще признаёт ценность высших культурных форм, хотя и выводит их из «свободного развития человеческой природы», которая — по истине и по христианскому ее пониманию — удобопревратна к добру и ко злу. Высшее развитие — не плод «свободного развития», напротив: плод внешнего принуждения или же внутренней борьбы. Необычен Милль, по сравнению с нынешней наивной эпохой, и в своем недоверии к демократии, которую он считает властью множества глупцов, ведущей к обезличиванию человека — и в качестве целебного противодействия которой и предлагает свое понимание свободы как предельного личного своеобразия. В этом он, конечно же, не является учителем нашей «свободолюбивой» эпохи. Однако многое другое в его писаниях с удивительной полнотой усвоено новейшей мыслью, и более того — служит основанием для людей дела, для вождей и повторяющей их мысли толпы.

Я говорю в этой рукописи о духовном смысле либерализма. Правда, принято считать (и сами либералы полагают именно так), что смысл либеральной политики как раз в том, чтобы оставить всю эту сомнительную «духовность» предыдущим поколениям, а также тем, кто в своем развитии не ушел от них далеко. «Либерально», как известно, такое отношение к христианству, которое между ним и, скажем, «культом вуду» не видит большой разницы, и требует в лучшем случае равной терпимости для Евангелия и бесовщины. Однако отказ от веры тоже есть вера; отказ от ответа также ответ, пусть и своего рода; поэтому умолчания либерализма — в суждениях о духовных вопросах — сами по себе красноречивы. Меня удивляет только, что вопрос о духовном содержании либерального учения не задавался раньше, и никто — кажется — еще не разглядел угрозы, скрытой в этом учении.² Называя Пушкина «либеральным консерватором», о нем, конечно, хотели сказать только хорошее: подразумевалось, что и свободе, и традиции он был предан равно. Итак, в либерализме видели приверженность всяческой свободе, самоуправлению, и в этом смысле противопоставляли его всем учениям, утверждавшим, что человеческая свобода может и должна быть ограничена вмешательством со стороны. Для людей XIX и начала XX веков спор о свободе и несвободе, надо признать, был исключительно умственным, теоретическим спором. Ни «свобода», ни «рабство» в чистом виде европейцам прежних времен не были известны, и под этими понятиями спорящие стороны имели в виду или чуть большее, или чуть меньшее вмешательство в человеческую жизнь со стороны государства и Церкви. До начала XX века ни один европеец не видел государства вполне порабощенного, и до конца этого века — ни одного вполне рассвобожденного. Мы видели и то, и другое, и поэтому разговор о «свободе и несвободе» можем продолжить с новым знанием, которого не было не только у наших прадедов, но даже и у наших отцов.

Конечно же, то, что я в этих заметках называю «либерализмом» — довольно сложное и неоднородное целое. После того, как на Западе прекратили существование все остальные течения мысли, о западном человеке можно сказать, что он либо мыслит либерально, либо не мыслит вовсе. Поэтому все оставшиеся умственные силы оказались вложены в разработку одной коренной идеи: как устроиться человеку в условиях отсутствия (или непознаваемости) общеобязательных ценностей. В пределах этого учения есть даже некоторое разнообразие мнений — как оно было внутри старого христианского богословия; более того, при самом поверхностном знакомстве с историей «либеральной мысли» нельзя не удивиться этому разнообразию... Впрочем, всё это академические тонкости и оттенки, малознакомые массам, которые

² Кроме неузнанного в свое время Конст. Леонтьева. Впрочем, Леонтьев, при всей его исключительной прозорливости, не разглядел как следует Дж. Ст. Милля, и даже с сочувствием о нем отзывался. Я никоим образом не упрекаю Леонтьева за недостаток предвидения, т. к. предлагаемая Миллем программа последнего и окончательного рассвобождения в то время должна была выглядеть просто игрой ума. Никто из современников не поверил бы в возможность практического ее приложения.

из всего либерального катехизиса всё полнее и полнее усваивают только одно положение: «всё дозволено, что не запрещено законом», причем границы этого «дозволенного законом» всё более расширяются, оставляя только две святыни: государственные интересы и частную собственность. «Дозволено всё, что не причиняет непосредственного вреда государству и чужому имуществу, а также жизни», так можно выразить общераспространенное понимание. К этому перечню в виде странного дописка присоединяется забота о «нравственности», смысл которой в обществе повседневно и повсеместного соблазна просто непонятен — если только не вспомнить Милля, который одним, «достигшим установленного законом возраста», предоставлял право соблазнять и быть соблазняемыми, других же, еще не созревших, предлагал освободить от искушений, чтобы потом, по достижении указанного возраста, бросить в море соблазна. Смысл этой противоестественной заботы о нравственности младенцев для меня совершенно неясен, потому что, во-первых, сохранение ее в обществе вседозволенности никоим образом невозможно, и, во-вторых, эту нравственность юности предлагают хранить только для того, чтобы торжественно выбросить в день достижения совершеннолетия. «Безнравственность есть привилегия зрелого возраста», только это и можно заключить, глядя на эти потуги.

Торжество либерализма показало, что существует какая-то противоположность закона и совести, о которой в XIX столетии проповедники либеральной идеи и не догадывались. Государство не имеет права печься о душевном благе подданных, говорил Милль, в первую очередь потому, что никто на земле не может заранее сказать о благе, что оно благо, и о зле, что оно зло. Так полагал Милль. Однако изъятие категории душевного блага, а шире сказать — нравственной годности, духовной годности граждан, имело последствия, которых не ждали. Законодательство приучилось рассматривать граждан как резиновые мячики, летящие и отражающиеся друг от друга и от поставленных им границ в соответствии с некоторыми законами, и внутренность этих «мячиков» начало рассматривать как пустую или, по меньшей мере, исследованию и упорядочению не подлежащую. Не стоит и говорить, что этот взгляд на человека оказался сугубо ложен и возмездие за эту ложь не заставило себя ждать. Люди не пустые шарики. Их движения определяются не внешними законами, но в первую очередь их внутренним составом, который, стараниями либерализма, и оказался выведен за рамки государственного ведения. Тот, кто писал:

«Широки натуры русские:
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал», —

смеялся над слишком серьезным. Отношение закона и совести таково, что там, где имеет силу совесть, хромает закон, и там, где торжествует закон, совесть приведена к молчанию. Либо «правда», либо «юридические начала», либо некоторое промежуточное состояние между ними — там, где отношения между ближними определяются совестью, и только лишь обязанности по отношению к дальним — законом. Милль (а за ним весь ряд либеральных законодателей, вплоть до тех, которые уже на наших глазах узаконили однополые браки и позволили таким «супругам» брать на воспитание детей) полагал, что забота о душевном благе подданных не может иметь успеха просто потому, что никто на земле не знает о благе, что оно благо, до тех пор, пока этого не показал опыт. Это обожествление опыта естественно для эпохи, всё могущество которой было основано на покорении природы путем опыта и упражнения, но непросто для мыслителя, который утверждает, будто стремится к истине — которая от могущества несколько отличается, да более того, к могуществу приводит весьма редко, разве что к нравственному. Стремясь внести наибольший порядок в государство, либеральный законодатель отказался от всякого порядка в человеческой душе.

Но слушаем, что говорит Милль, и сделаем некоторые заметки на полях его очерка о свободе.

II.

Милль говорит

«Нужно защищать, — пишет Милль, — личность против господствующих мнений, мыслей и образцов поведения; нужно дать личности свободу развиваться исключительно соответственно ее склонностям».³

Взгляд возвышенный и ложный, из которого в наше время были сделаны все губительные выводы. Общество не только «корпорация» взрослых и самостоятельных граждан; оно всегда остается воспитательным учреждением для тех, кто еще не готов к самостоятельности или не способен быть самостоятельным вовсе. «Формирование личности в соответствии с ее внутренними склонностями» — неспособная к жизни мечта, которой, к сожалению, в наши дни отравлено много умов. Что понимать под этими «внутренними склонностями»? Первобытные и неотчетливые побуждения ребенка? Желания и пробуждающиеся страсти подростка? Всё — склонности, и всем можно следовать. Без качественной оценки и определяемого этой оценкой отбора разговор о «природных склонностях» не имеет смысла; общество, состоящее сплошь из личностей, развивавшихся исключительно в соответствии с их природными побуждениями, будет ярмаркой разнообразных уродств. Однако оценка, качественный разбор — это то, чего Милль (и вслед за ним все либералы его толка) старается избежать.

«Власть, — говорит он далее, — может ограничивать личность в нанесении вреда другим, но не имеет права заботиться о ее материальном или душевном благополучии. Независимость личности в том, что касается только ее самой, должна быть абсолютной»⁴.

Это правило, пригодное только для высокоразвитого общества, основы которого — культурные и нравственные основы — заложены сугубо нелиберальным порядком, т. е. таким, который в отношениях к делам и людям применял качественные оценки, не говоря уже о самой ненавистной для Милля оценке с точки зрения душевного блага личности. Милль, а за ним весь ряд либеральных мечтателей, убежден в том, что превосходство высших благ над низшими усвоено человечеством настолько прочно, что его господство не пошатнется никогда. «Воля личности по отношению к ее телесному и душевному благу неприкосновенна», вернее, могла бы быть неприкосновенна, только при условии неперменной направленности — не скажу: к добру, т. к. это слово пугает многих, — но к высшим ценностям, к качественно превосходящим ценностям, к (в конечном счете) более сложному, нежели более простому. Если бы в ряду поколений нам удалось, каким-то неведомым способом, без всякого принуждения (а воспитание и научение основаны на принуждении, до тех пор, пока воспитываемый и научаемый не научится сам видеть в них пользу) получить личностей, неизменно, при всех обстоятельствах стремящихся к высшему и сложному... пожалуй, в «неотъемлемых правах человека» не было бы большого вреда. Высшему человеку можно дать и права. Однако развитие высшего человека и всегда находится под угрозой, а во времена либеральной демократии в особенности;

³ «Необходима также защита, — говорит Милль, — против тирании господствующего мнения и чувства; против склонности общества навязывать, средствами отличными от гражданских наказаний, свои собственные понятия и образцы поведения тем, кто восстает против них; против склонности сковывать и, если удастся, пресекать развитие любой личности, не разделяющей господствующих обычаев...»

⁴ «Власть может воздействовать на поступки члена цивилизованного общества, против его воли, в том единственном случае, когда речь идет о предотвращении вреда по отношению к другим членам общества. Благосостояние личности, как физическое так и нравственное, недостаточная причина для вмешательства в ее жизнь. Нельзя принудить к одному и заставить воздерживаться от другого только по той причине, что это сделает личность лучше или счастливее, или потому, что, с точки зрения других, делать одно и воздерживаться от другого было бы мудро или даже праведно. Единственная часть поступков личности, в которой она подотчетна обществу, есть та, что касается других людей. В той части, которая затрагивает только личность, и более никого, ее независимость должна быть абсолютна. С собой, своим телом и разумом, человек может распоряжаться совершенно свободно».

именно потому, что предоставленные самим себе массы выбирают не высшее и сложное, но низшее и простейшее, а именно — то, упражняться в чем можно, ни на йоту не поднявшись выше животного уровня. Милль, конечно, не забывает оговорить, что требование абсолютной свободы приложимо только к «существам, достигшим полного развития своих способностей по достижении установленного законом возраста». ⁵

Однако эта оговорка не достигает цели. Одни достигнут зрелости раньше установленного законом срока, другие не достигнут ее никогда — и, сколько можно судить, вторых будет больше, чем первых. Так что свободой, как благом, доступным для обществ, способных к самоусовершенствованию путем свободного и равного обсуждения, ⁶ никогда не смогут наслаждаться слишком многие — разве только мы вложим новый смысл в понятия «обсуждения» и «самоусовершенствования», да и самой «свободы».

Милль говорит: «Область человеческой свободы, в которой у общества нет непосредственных интересов, включает свободу мысли и восприятия; абсолютную свободу мнений и чувств относительно любых вопросов, практических или философских, научных, нравственных или богословских».

Твердость формулировок не уступает здесь неясности содержания. Автор, как всегда, выводит качественную добротность человеческих действий за скобку и рассматривает отношения между людьми так, как если бы это были тела ньютоновской физики. Вероятно, это высшее достижение т. н. «научного подхода» по отношению к человечеству: всё, будто бы, учтено, кроме главного — внутреннего смысла и внутренней ценности поступков... Ни из чего не следует, будто «свободно оказываемые влияния» будут благими; или — говоря языком самих либералов — окажутся неизменно полезны для общества, и что «абсолютная свобода» для распространения несовершенных мнений приведет непременно к общественному самоусовершенствованию. Я бы сказал, что несносный догматизм этих требований простителен только кабинетному ученому, который о дурных страстях, да и вообще о страстях, знает только понаслышке, а о преступниках и преступной воле — только из сообщений газет...

Читаем далее:

«Истинная свобода — та, которая позволяет личности искать своего блага на своих путях, до тех пор, пока эта личность не посягает на чужое». ⁷

Как видно, Милль был искренно убежден, что всё добро и всё зло, какое человек может причинить человеку, ограничивается областью материального. «То, что можно дать и отнять», только тем должен заниматься закон, определяя права и обязанности лиц. Всё остальное неважно, ненужно и почти не существует.

Воистину, либеральный взгляд на человека есть самый внешний. Из всего человеческого рассматриваются только некие внешние действия, которым и требуется предоставить полную свободу до тех пор, пока эта свобода не перерастет в преступление. Область душевной жизни, область нравственного, область душевного и нравственного взаимовлияния исключается из рассмотрения совершенно. Как-то негласно признается, что весь вред, какой один человек может причинить другому, имеет совершенно материальный характер. Этот вред, и только этот, наказывается законом; всё прочее Милль (т. е. либерализм) относит к мнениям, распространение и принятие которых никакого значения для общества и отдельных лиц не имеют.

⁵ «Это учение должно прилагаться только к человеческим существам, достигшим зрелости своих способностей. Мы не говорим о детях, а также о молодых людях не достигших определенного законом возраста зрелости. Те, чье состояние еще требует сторонней заботы, должны быть защищены от своих собственных поступков также, как и от чужих обид».

⁶ «Свобода, как принцип, приложима только к высоким ступеням развития, на которых человечество становится способным к самоулучшению путем свободного и равного обсуждения».

⁷ «Единственная свобода, заслуживающая этого имени — свобода преследования своего блага на своих путях, до тех пор, пока мы не пытаемся лишить других их собственных благ, или воспрепятствовать их усилиям на пути достижения этих благ. Каждый является наилучшим стражем собственного здоровья, как для тела, так и для ума или духа».

Даже больше, утверждается, будто разнообразие мнений — залог «прогресса», т. е. умственного роста, так как всё равно никто заранее не может знать, какое мнение истинно, какое ложно. Итак, нужно пробовать и ошибаться, и в конце истинные мнения восторжествуют. Впрочем, я неверно выразился. Милль достаточно громогласно (насколько ему это позволяла эпоха) объявляет, что чистой истины в мире не существует, что истина, признанная большинством — точно так же мутна и недостоверна, как истина меньшинства, которую это большинство преследует как «ересь». Следовательно, ссылка на то, что разнообразие мнений будто бы способствует достижению истины, недобросовестна и высказана скорее ради спокойствия читателей. Сам Милль, по-моему, нисколько не заботится о достижении какой-то «истины», разве только в исключительно утилитарном смысле («мы предполагаем то или иное истиной в интересах действия», говорит он, «и ни в каком ином смысле не может человеческое существо считать себя правым»).

А вот прекрасные слова в защиту свободного слова: «Если бы все люди, кроме одного, были одного мнения, и только один человек — противоположного, человечество имело бы не больше права заставить это лицо умолкнуть, чем оно, если б имело власть, было бы вправе преградить уста человечеству. ...Замалчивание мнений особенно дурно тем, что оно обкрадывает человечество; как потомство, так и нынешнее поколение; тех, кто не разделяет этого мнения, еще больше, чем тех, кто его придерживается. Если это мнение истинно, они лишаются возможности сменить заблуждение на истину; если оно ложно, они теряют то, что почти столь же ценно: как никогда ясное и живое впечатление, производимое истиной при столкновении с ложью».

Это красноречиво; это благородно; это обличает широту мысли. Но я никак не могу согласиться, думая о многочисленных соблазнителях человечества (которых оно увидело с тех пор, как проповедуемая Миллем свобода суждения распространилась повсеместно), с тем, что «подавляя ложное мнение, мы теряем возможность насладиться чистотой истины, явленной в столкновении ее с ложью». Это какое-то недобросовестное толкование евангельского: «надо соблазнам придти в мир, но горе тому, через кого придет соблазн». Там скорбное признание неизбежности соблазнов — здесь приглашение соблазнов в мир ради вящего торжества истины. Это какая-то легкомысленная игра истиной и совестью человечества, основанная — насколько дело касается всего того, что превосходит геометрию, — на необыкновенном оптимизме по отношению к истине и к человеческой природе, а еще более — на школьном и исключительно головном, иначе не скажу, представлении о человеческой жизни. Представьте себе, как я это себе представляю: на одной чаше весов — растленные дети (для растления которых так много делают на современном высоконравственном, либеральном и демократическом Западе), а на другой — «яснейшее ощущение и живейшее впечатление правды, произведенные столкновением ее с ложью». Это какое-то извращенно-эстетическое мировоззрение; это близко к тому, что произносил иногда Леонтьев, оскорбленный либеральной западной пошлостью: что и злу, и страданию надо быть, чтобы посреди них ярче светили добро и правда. Но эстетическое чутье Леонтьева несомненно, и для него это были не пустые слова — в отличие от Милля, который ни зла, ни страданий, в мир злом введенных, не видит, и проводит свои кривые и прямые линии в полной уверенности, что люди и геометрические фигуры мало отличаются друг от друга.

Милль говорит: «Мы никогда не можем быть уверены том, что мнение, которое мы пытаемся подавить, есть ложное мнение; и даже если бы мы были в этом уверены, подавлять его всё равно было бы дурно. <...> Есть величайшая разница между тем, чтобы предполагать мнение истинным, поскольку все попытки его опровергнуть оказались безуспешными, и тем, чтобы принимать его за истину, не допуская попыток опровержения. Полная свобода противоречия и опровержения наших мнений есть то условие, которое оправдывает нас в предположении

этих мнений истинными, в интересах действия; и на никаких других основаниях существо с человеческими способностями не может иметь разумной уверенности в том, что оно право».

На это я бы ответил, что свобода обсуждения, опровержения и отвержения, примененная без изъятия ко всем истинам, очень скоро должна оставить общество без истин вовсе — по меньшей мере, без тех, которые «превышают геометрию». Не может быть, чтобы Милль (говоря: Милль, как всегда подразумеваю либерала вообще) не знал, что все принятые истины, касающиеся области человеческого, ни разумному доказательству, ни разумному опровержению не подлежат. Разуму вообще нечего или очень мало что есть сказать о как об отдельном человеке, так и об истории человечества; опровержением «строго разумных» взглядов на личность и на историю не следует даже и заниматься, так как они с завидным постоянством обрушиваются один за другим. Можно даже заподозрить (как это подозревал Достоевский и иные), что человеческие истины, вернее, истины о человечестве — иррациональны, внеразумны, и с ними нечего делать ни геометрии, ни диалектике; еще Сократ мог полагать, что «блаженство души — в правильно составленных речах», но мы не можем быть так доверчивы...

С одной стороны, Милль заявляет, что «человечество достигло способности к самоусовершенствованию путем свободной и равной дискуссии»; с другой — что, например, «относительно любого не самоочевидного вопроса девяносто девять человек, совершенно не способных о нем судить, приходится на одного, который способен; и то способность суждения у этого сорогача человека только относительная; у большинства выдающихся людей, в любом из прошедших поколений, были мнения, ложность которых мы теперь знаем, и эти люди делали или одобряли много таких вещей, которые в наше время никем не могут быть оправданы».

Трудно здесь не заметить противоречия. Свободное и равное обсуждение в условиях, когда мнения девяносто девяти человек из ста не стоят внимания, поскольку не имеют никакого отношения к истине, но при этом бережно и внимательно выслушиваются, должно неизбежно превратиться в насмешку — и оно превращается, как мы хорошо знаем из опыта. Впрочем, сделав такое грустное обобщение человеческой способности суждения, Милль успокоительно добавляет, что «опыт и обсуждение» имеют силу исправлять ложные мнения, и рисует происхождение мудрости, в котором опыт имеет куда меньшее значение, чем мнения тех девяносто девяти собеседников, о которых сказано выше. Вкратце, тот мудр, кто всю жизнь прислушивался к критике своих мнений со стороны других людей, принимал верное и отбрасывал ложное; выслушивал всех, кто может сказать хоть что-нибудь о предмете, и на основании этого пестрого множества суждений создавал свое. «Нет мудреца, который приобрел бы свою мудрость иным путем, и не в силах человеческого разума приобрести мудрость иным способом». Мало будет сказать, что это совсем не так. Описанная Миллем картина куда больше напоминает работу народного представительства с совещательными правами при полномочном монархе, для которого в самом деле мнения и несильных в суждении подданных имеют ценность, т. к. исходят из мест и положений, ему по личному опыту малоизвестных, нежели историю приобретения мудрости. Мудрость приобретается из бесед с мудрыми, в первую очередь. Для ее приобретения необходимы, кроме того, сдержанность в суждениях и постоянная готовность к пересмотру и отвержению собственных мнений. Тот, кто хочет стать мудрым, действительно много слушает, но слушает он немногих.

Милль заявляет:

«Если бы ньютонова философия была изъята из обсуждения, человечество не чувствовало бы такой полной уверенности в ее истинности, какую оно чувствует теперь. Мнения, в которых мы уверены больше всего, только приглашают всех желающих испытать их основательность. Если этот вызов не принимается, или принимается, но опровержение не удается, мы по-прежнему остаемся далеки от уверенности; но всё же мы сделали всё, что только позволяет нам теперешнее состояние человеческого разума; мы не пренебрегли ничем, что могло бы помочь истине достичь нас; мы можем надеяться, что если есть лучшая истина, она будет найдена,

когда человеческий ум станет способным ее воспринять; а до тех пор мы можем быть уверен в том, что достигли такого приближения к истине, какое возможно в наши дни. Такова мера уверенности, доступная существу, чьи суждения подвержены ошибкам, и таков единственный путь к этой уверенности».

Это рассуждение было бы хорошо, если бы относилось исключительно к тем истинам, которые добываются диалектическим путем, т. е. так, как это учил делать Сократ, или если бы всё в мире поддавалось сократическому методу. Однако существуют целые области, из него изъятые — главным образом, связанные с истолкованием опыта человеческой души и смысла человеческой жизни, и к тому же такие, в каких «уверенность», в ее человеческом смысле, не имеет места... Представления и здесь сменяют друг друга; но в появляются и распространяются совсем другим путем, нежели принятые истины (*received opinions*, как выражается Милль) «сократического» порядка. Требовать «свободной дискуссии», т. е. рационального обсуждения, для вещей иррациональных, не находящихся в ведении разума, значит требовать их упразднения, избегая лишь называть вещи своими именами. Если бы Милля, т. е. либерализм, действительно занимала судьба религиозных и метафизических вопросов, ему бы следовало ограничить область, в которой ссылки на «нынешнее состояние человеческого разума» имеют силу, и уточнить правила обсуждения тех вещей, которые опытным путем ни решительно подтвердить, ни решительно опровергнуть невозможно. Однако Милль ничего подобного не предпринимает и требует свободы рационального обсуждения для религиозных истин, прекрасно зная, что эти истины добыты на нерациональных путях.⁸

А вот прекрасные и громкие слова:

«С какой бы неохотой лицо, имеющее некоторое твердое убеждение, ни допускало, что это убеждение может быть ложным, его должно побуждать то соображение, что даже истинное утверждение, которое не обсуждается полно, часто и бесстрашно, есть мертвая догма, а не живая истина».

Однако призыв к свободе обсуждения в области метафизической, о которой Милль здесь и говорит, мало что дает человечеству, т. к. всё, что нам известно о метафизических вопросах (если здесь можно употребить слово «известно»), имеет источником религиозное вдохновение и религиозный опыт относительно небольшого ряда лиц, к которому большинство из нас может только присоединиться или не присоединиться. «Разумное» обсуждение метафизических вопросов может руководствоваться только сугубо внешними признаками истины, т. е., в первую очередь, отмечаемым как недопустимый критерием душевного блага личности. Метафизические истины в нашем мире оцениваются сообразно приносимым ими по эту сторону смерти плодам, и никак иначе; истины, приносящие уродливые и смертоносные плоды, должны вызывать у нас сомнение... «По плодам познаётся дерево...», учил нас Христос. В отношении метафизических вопросов можно либо придерживаться приведенного выше правила, либо огульно отрицать само существование таких вопросов, а всех, кто по-прежнему смотрит на них как на достойные внимания, презирать — и удалять, по возможности, от всех общественных дел. «Свобода обсуждения» в этой области очень быстро превращается в то самое, от чего Милль отталкивался, как от наихудшего примера в области истории человеческих мнений: в борьбу с ересью, конечная цель которой, правда, не спасение души еретиков, но приведение их к молчанию.

По обстоятельствам своего времени, надо заметить, Милль требовал некоей свободы для метафизических прений вообще, как будто его занимали какие-то иные, внехристианские метафизические построения. Либерализм до сих пор сохраняет этот вид благородного защит-

⁸ Смешение категорий, которое он допускает, требуя «свободных споров» о вере между теми, кто молится и теми, кто не молится, можно сравнить только с требованием предоставить участие в решении трудных вопросов правописания тем, кто не умеет писать, наравне с теми, кто умеет.

ника свободного спора — ни дать ни взять, современный Сократ, — однако давно уже пора сказать, что с самого начала речь шла не о праве свободно противопоставлять одни религиозные представления другим, одну метафизику — другой, одни нравственные (все высшие религии неотделимы от нравственности) правила — другим, но о свободе отрицать христианство, а если сказать более широко — отрицать, изгонять из мира, препятствовать распространению любого религиозного мировоззрения. Когда Милль говорил о «свободе дискуссий», он имел в виду именно эту свободу. Помните ли описанный Лесковым спор учителя Варнавы Препотенского и протопопа Туберозова? «Вы... вы хотите нас всех в Сибирь сослать!», говорил протопопу Варнава. «А вы чего хотите? Вы хотите, чтобы нас не было», спокойно отвечал Туберозов, на что учитель отвечать уж не решался, потому что хотел именно этого, и только для спокойствия публики — точь-в-точь как Дж. Ст. Милль — говорил о «свободе для всех мнений».

Кстати, раз уже я коснулся этого. В том месте своего очерка, где Милль защищает «свободу обсуждения», он ссылается сначала на Сократа, затем на Христа. Сократа, говорит Милль, современники обвиняли в «нечестии и безнравственности», Христа — в «кошунстве». И ведь, добавляет он, их обвинители «были, по всем видимостям, не плохими людьми — не худшими, чем люди бывают обычно, но скорее лучшими; людьми, которые обладали в полной мере, или даже более, чем в полной мере, религиозными, нравственными и патриотическими чувствами своего времени и своего народа; принадлежали к тому самому типу людей, которые, во все времена, включая наше, имеют все основания прожить жизнь, пользуясь уважением ближних».

Сравнение, на мой взгляд, нечестное — такое же, как призыв к «свободной дискуссии», которая — раз только начнется — будет сведена к уничтожению предметов и понятий, которые должны были обсуждаться. Сократ и Христос, в отличие от позитивистов и атеистов XIX столетия, проповедовали положительные ценности, и потому остались в истории как живые и действующие до нашего времени силы.⁹

«Если бы все люди, кроме одного, придерживались одного мнения, и только один человек — противоположного, человечество имело бы не больше права заставить это лицо умолкнуть, чем оно, если бы имело власть, было бы вправе преградить уста человечеству», — пишет Милль в защиту замалчиваемых истин. Читая это, и много подобных ему мест, надо иметь в виду, что об «истине» Милль (читай: либерализм) говорит в весьма своеобразном и условном смысле. «В интересах действия мы принимаем за истину то мнение, которое, в условиях полной свободы обсуждения и опровержения, не было опровергнуто», примерно так он выражается. Следовательно, речь идет вовсе не об «истинах», даже не о достоверных мнениях, а о временных предположениях, пригодных для того, чтобы строить на них наши поступки. Больше того — к и без того условному, временному, основанному только на временной пользе понятию истины он добавляет: «Мы никогда не можем быть уверены том, что мнение, которое мы пытаемся подавить, есть ложное мнение», — т. е., продолжая мысль, и в истинности наших мнений мы не можем быть уверены никогда. Мерой истинности мнения становится его способность устоять перед критикой со стороны современников; мнение современников, их кругозор и уровень умственного развития делают последние судьями наших мнений. По существу, это совершенно не ново: это как раз то, что провозглашала людская мудрость всех известных нам времен. Необыкновенно и ново только то, что Милль требует подчинения мудреца толпе («этому пестрому набору немногих мудрых и многих глупых личностей, называемому публикой»), в то же самое время говоря о «защите от тирании большинства»...

⁹ Я сознаю, насколько далек образ Сократа от образа «проповедника положительных ценностей», но всё же — в самом последнем счете — Сократ учил правильному мышлению, о котором никак нельзя сказать, будто оно не является положительной ценностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.